Вардван Варжапетян

Доктор Гааз

Alauda

Alauda

Вардван Варжапетян

Доктор Гааз

«Издательство Францисканцев»

2018

Варжапетян В.

Доктор Гааз / В. Варжапетян — «Издательство Францисканцев», 2018 — (Alauda)

ISBN 978-5-89208-140-5

Книга автора многих биографических повествований Вардвана Варжапетяна (род. в 1941 г.) «Доктор Гааз» посвящена великому гуманисту XIX века Фёдору Петровичу (Фридриху) Гаазу, своим милосердием, бескорыстием и сомоотверженностью заслужившего в России прижизненную славу «святого доктора».

ISBN 978-5-89208-140-5

© Варжапетян В., 2018
© Издательство Францисканцев, 2018

Содержание

От издателя 6
Свидетельство о Фёдоре Петровиче 7
«Спешите делать добро» 8
Тринадцатая страсть 15
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Вардван Варжапетян
Доктор Гааз

Редактор: *Игорь Баранов*
Дизайн: *Иван Сердюков*

© Вардван Варжапетян, текст, примечания, 2018
© НО Издательство Францисканцев, 2018

Централизованная религиозная организация Католический Орден Францисканцев в России

От издателя

Книга Вардвана Варжапетяна *«Доктор Гааз»* продолжает издательскую серию, публикующую жизнеописания выдающихся католических подвижников. Хотя Фёдор Петрович (Фридрих-Йозеф) Гааз еще не провозглашен святым или блаженным (ныне идет процесс его беатификации), он уже при жизни заслужил в России славу «святого доктора». Для многих, в том числе для Ф.М. Достоевского, он был безусловным нравственным авторитетом и образцом самоотверженного христианского служения ближним.

Название этой серии – «Alauda» – в переводе с латыни означает «Жаворонок». Образ этой птицы был очень близок святому Франциску Ассизскому, который говорил, что жаворонок – это «смиренная птица, потому что готова ходить по земле, чтобы найти зернышки», а летая, она славит Господа столь же прекрасно, как и «пренебрегающие земными благами монахи, общение которых происходит на небесах». Серое оперение жаворонка для святого Франциска также было символом христианского смирения, а небольшой хохолок на голове – подобием монашеского капюшона. Согласно преданию, жаворонки своим пением прощались с умирающим Франциском – вопреки обыкновению, они запели вечером, словно благодаря святого за его особенную любовь к ним.

Слыша пение жаворонка в небе, человек обращает свой взор ввысь – но видит там не маленькую птичку, а сияние солнца. Поэтому для нас образ жаворонка – это в целом символ святости, духовной высоты при внешней невзрачности, стремления к небесам, к солнцу для воспевания всей своей жизнью славы Творцу.

Свидетельство о Фёдоре Петровиче (вместо предисловия)

Фёдора Петровича Гааза (1780–1853), четверть века бывшего главным врачом московских тюрем, вся каторжная Россия считала своим заступником, «святым доктором». Общеизвестны его крылатые слова: «Спешите делать добро». Я написал о нём повесть «Тринадцатая страсть», вышедшую в издательстве «Современник» в 1988 году. Многое связано в моей жизни с именем доктора Гааза. Даже чудо…

В августе 2003 года «скорая» привезла меня с тяжёлой черепно-мозговой травмой в Первую Градскую больницу. Сразу – на операционный стол.

Очнулся я дней через шесть, уже в палате. Каждую ночь, ближе к рассвету – мучительные, жестокие приступы: меня выкручивало всего, как бельё после стирки, а я не мог говорить, даже мычать. Тогда я взмолился: «Господи, помилуй! Не оставь меня, помоги мне!»

И вот наступает новая ночь… А я обычно чувствовал приближение приступа, вот и в эту ночь ощущаю – близко уже. Но ещё я чувствую, что в палате (в которой было, помимо меня, пять страдальцев) присутствуют трое: Фёдор Петрович Гааз; цадик реб Зуся[1]; а третий – Господь. Три некие сущности, нечто единое и благое, дивный «консилиум», который в эти минуты решает мою судьбу. И приступ, уже подступивший близко, неожиданно медлит приблизиться, а в душе я ощущаю великое ликование, словно мне в сердце, как в чашу, льют пенящееся шампанское, сердце уже полно, а в него всё льют… И слышу голос: «Не бойся, всё будет хорошо». А я им – Господу, Фёдору, Зусе: «Теперь не боюсь, не беспокойтесь. Со мной ничего не случится. Только вы не волнуйтесь». Это уже я их успокаиваю.

На следующую ночь (точно, как по часам, в три тридцать) приступ проявил себя совсем слабо. На третью ночь не было даже намёка на него. И всю неделю, каждую ночь, я чувствовал в палате присутствие моего «небесного консилиума», дивного триединства.

Я сомневался, сказать ли врачам? Сопалатники отговаривали: «Дурак, тебя ещё в психушку засадят!» Но я всё-таки рассказал об этом опытнейшему нейрохирургу Ребенко, оперировавшему меня.

– Вардван, вас положили на операционный стол как раз в три тридцать. Приступы, о которых вы говорите, – это мозаичная конвульсия. Не всякий нейрохирург видел такое. Представьте: лицо человека составлено из сотен кусочков и каждый из них искажает собственная конвульсия. Страшное зрелище! Какая-то сатанинская маска. А ваше видение… не знаю… Одно могу сказать: ваше восстановление идёт поразительно быстро. В вашей палате есть больные с травмами, менее тяжкими, чем ваша (честно скажу: с такой степенью разрушения черепа даже слон бы, наверное, умер на месте), а последствия у них куда тяжелее – речь, память, движения…

Моя повторная томограмма показала, что кровоизлияние, отчётливо видное на первых снимках, бесследно исчезло.

Вот и судите сами: встреча это была или не встреча?

Вардван Варжапетян

---

[1] В иудаизме цадик – праведник; ребе – духовный наставник. Цадик реб Зуся умер в 1800 г.; ему принадлежат слова: «В том мире никто не спросит меня: “Почему ты не был Моисеем?” Спросят другое: “Почему ты не был Зусей?”». – *Здесь и далее прим, автора.*

«Спешите делать добро»

«Спешите делать добро» – это слова из «Обращения к женщинам», духовного завещания доктора Фёдора Петровича Гааза (1780–1853), написанного им в конце жизни – достаточно долгой, чтобы множество раз показать прочность ее нравственного основания. Они же, эти слова, обрамленные лавровым венком, запечатлены на памятнике Гаазу во дворе основанной им Полицейской больницы; здесь, на втором этаже, в своей маленькой квартирке, Фёдор Петрович и умер, оплакиваемый людьми по всей России.

1

… В ту августовскую ночь 1853 года в маленькой квартирке доктора Гааза на втором этаже Полицейской больницы побывало множество людей; поднявшись по чугунной лестнице, они молча толпились в гостиной и проходили в кабинет, прощаясь с человеком, которого чтила вся Россия. Шли полицейские чины и каторжники, купцы, чиновники Московского тюремного комитета и врачи Полицейской больницы, митрополит Филарет, ходатай по делам арестантов писатель Николай Павлов, губернский стряпчий Илья Арсеньев, философ Пётр Чаадаев, которому Гааз завещал издать свои труды «Обращение к женщинам» и «Проблемы Сократа» (первый из них был вскоре издан, второй затерялся и до сих пор не найден).

Простившись с Гаазом, известный публицист Иван Киреевский записал в своем дневнике: «Был у Гааза. Он умирает. Мы видели его в том положении, в каком он находится уже трое суток: облокотивши голову на руки, сложенные крестом на столе. Ни жалобы, ни вздоха, ни даже дыхания малейшего. Видно, однако же, по положению тела, что он жив и не спит. Недвижимость душевного спокойствия, несокрушимого даже страданиями смерти. Удивительно много было у этого человека прекрасного, скажу даже, великого в его безоглядном человеколюбии, несокрушимом спокойствии. Это спокойствие могло происходить только от крайней, отважной решимости исполнять свой долг во что бы то ни стало».

Тяжко страдая, Фёдор Петрович не жаловался и ни о чем не просил и только однажды, незадолго до последнего вздоха, признался давнему другу профессору Полю, неотлучно бывшему с ним: «Я не думал, чтобы человек мог вынести столько страданий». Видимо, в ту минуту ему было особенно тяжело, ведь он лучше, чем кто-либо другой, видел всю бездну страданий, выпадающих на долю человека: и на войне 1812 года, когда в составе русской армии прошел путь от Москвы до Парижа, и в больницах, и в тюрьмах. За четверть века службы в Тюремном комитете, кажется, вся ссыльная Россия прошла перед ним, звеня кандалами, провожаемая им до Рогожской заставы, где начиналась Владимирка.

Тюрьма, тюремные больницы, пересылки, этапы – изо дня в день шел Гааз, словно добровольно заключив себя в узилище. Но, ежедневно наблюдая человеческое горе, не уставая сострадать ему, он бывал и счастлив. Со слов самого Фёдора Петровича точно известно, что он самыми счастливыми считал два события в своей жизни: день замены «прута»[2] облегченными кандалами и день открытия Полицейской больницы для бродяг и нищих (эту больницу все называли «Гаазовской», а облегченные кандалы, обшитые внутри гаек сукном – «гаазовскими»).

Нескончаемо тянулась ночь. Раньше старый доктор любил в полночные часы наблюдать в медную телескопическую трубу сияющую россыпь звезд, но сейчас из-за боли не мог поднять

[2] Название железного стержня метровой длины, к которому прикреплялись наручниками 8-10 арестантов. Этот «прут» на многие месяцы следования ссыльных в Сибирь соединял людей, различных по росту, здоровью, силам, причиняя нестерпимые страдания.

голову и взгляд его упирался в висевший на спинке стула потертый фрак с Владимирским крестом в петлице. Этот орден – редкостный среди иностранцев – Фёдор Петрович заслужил еще в 1808 году за успехи и бескорыстие при лечении глазных болезней (двадцатишестилетний Гааз, ученик венского офтальмолога Шмидта, приехал в Россию в 1806 году по приглашению княгини В.А. Репниной-Волконской). Он очень дорожил наградой. Крест ев. Владимира 4-й степени давал право на потомственное дворянство, но Гааз так и не обзавелся семьей, и орден был ему дорог особенно своим созвучием с Владимиркой – главной кандальной дорогой России.

2

Максим Горький был убежден, что «о Гаазе нужно читать всюду, о нем всем нужно знать, ибо это более святой, чем Феодосий Черниговский».

Это высказывание принадлежит писателю, вложившему в свое время в уста Сатина красивые слова о Человеке. Из-за частого повторения хрестоматийного монолога кое-кто мог уверовать, будто гордость за человека полностью отменяет жалость к нему. Сам Горький думал иначе: ведь сердцевину жизни Гааза составляют сострадание и милосердие. Жалость – одно из величайших человеческих чувств, может быть, даже самое человечное. Противопоставляют жалости безжалостность (то есть жестокость) и равнодушие.

Слова Горького о Гаазе адресованы юристу А.Ф. Кони – автору вышедшего в 1896 году прекрасного очерка о Фёдоре Петровиче. В значительной степени благодаря его книге имя и деятельность «святого доктора» были спасены от забвения.

Выдающийся юрист проявлял постоянный интерес к тем личностям, чья жизнь могла служить нравственным примером. Будучи судьей и прокурором, Кони ясно сознавал, что идеальных людей нет, но есть люди, наиболее ярко и последовательно воплощающие идеалы каждого из нас и всего общества в целом, как бы эталоны общественной морали. Особенно высоко он ставил людей, открывших перед ним «красоту человеческой совести», и среди них прежде всего Льва Николаевича Толстого и Фёдора Петровича Гааза. Причем в благоговении перед великим писателем и скромным доктором можно заметить отличие, некий психологический нюанс: в минуту трудных решений, когда так легко примирить поступок с обстоятельствами, оправдать компромисс услужливыми прецедентами, тревожным колоколом в душе звучало: «А что скажет на это Лев Николаевич? А как он к этому отнесется?» – тут на первый план выступало мнение Толстого.

Думая же о Гаазе, соизмеряя свою жизнь с его, Кони, безусловно, вопрошал себя: «А как поступил бы в таком случае Фёдор Петрович?» – тут важен был пример, ибо вся жизнь Гааза была непрерывным добротворчеством.

Ф.П. Гаази А.Ф. Кони были современниками. Но временная связь тут чисто формальная: когда умер старый доктор, будущему юристу и сенатору едва исполнилось девять лет. Однако искренность, которой дышит его книга, не вызывает сомнений в том, что автор кроме архивных материалов использовал свидетельства людей, близко знавших Гааза. Думаю, не обошлось и без семейных преданий. В 1820-х в Москве имелся единственный оптический магазин, принадлежал он деду А.Ф. Кони – Алексею Кони. Многие московские врачи были постоянными посетителями магазина, где, наряду с подзорной трубой и микроскопом, можно было приобрести лорнет или очки. Гааз, будучи одним из первых окулистов отставной столицы, нередко заходил со своими пациентами в оптический магазин Алексея Кони на Кузнецком мосту. Здесь же, на углу Кузнецкого и Рождественки, много лет и жил Фёдор Петрович.

А первое гласное свидетельство о Гаазе принадлежит А.И. Герцену: «Доктор Гааз был преоригиналь-ный чудак. Память об этом *юродивом* и *поврежденном* не должна заглохнуть в

лебеде официальных некрологов, описывающих добродетели первых двух классов, обнаруживающиеся не прежде тления тела.

Старый, сухощавый, восковой старичок, в черном фраке, коротеньких панталонах, в черных шелковых чулках и башмаках с пряжками, казался только что вышедшим из какой-нибудь драмы XVIII столетия. В этом *grand gala*[3] похорон и свадеб и в приятном климате 59-го градуса северной широты Гааз ездил каждую неделю на этап на Воробьёвы горы, когда отправляли ссыльных. В качестве доктора тюремных заведений он имел доступ к ним, он ездил их осматривать и всегда привозил с собой корзину всякой всячины, съестных припасов и разных лакомств, грецких орехов, пряников, апельсинов и яблок для женщин».

Заканчивая некролог о Гаазе (эти страницы «Былого и дум» написаны в 1853 году), Герцен вспомнил эпизод о том, как однажды больной украл у доверчивого доктора столовое серебро, был пойман и приведен к Фёдору Петровичу. Послав больничного сторожа за квартальным, Гааз сказал вору:

– Ты фальшивый, ты обманул меня и хотел обокрасть, Бог тебя рассудит… а теперь беги скорее в задние ворота, пока солдаты не воротились… Да постой, может, у тебя нет ни гроша, вот полтинник; но старайся исправить свою душу – от Бога не уйдешь, как от будочника!

Тут восстали на Гааза и домочадцы. Но неисправимый доктор толковал свое:

– Воровство – большой порок; но я знаю полицию, я знаю, как они истязают, – будут допрашивать, будут сечь; подвергнуть ближнего розгам – гораздо больший порок; да и почем знать – может быть, поступок мой тронет его душу!

В этой зарисовке видна утрированность и портрета, и характера, и самого типа личности. Люди, коротко знавшие Гааза, могли бы оспорить сходство эскиза, сделанного пером Герцена, с оригиналом. Высокий, тучный, с крупными чертами энергичного лица, голубоглазый, со взглядом серьезным и спокойным, Фёдор Петрович менее всего походил на «воскового старичка».

Чудак из драмы XVIII века? Юродивый и поврежденный? Но какому чудаку под силу сделанное Гаазом:

1832 год – устройство тюремной больницы на Воробьёвых горах;

1833 год – отмена «прута»;

1836 год – замена тяжелых кандалов «гаазовскими» – облегченными, обшитыми кожей или сукном; открытие школы для детей арестантов;

1844 год – открытие больницы при Старо-Екатерининском приюте;

1846 год – отмена поголовного обрития ссыльных;

1847–1848 годы – во время неурожая Гааз собирает И 000 рублей серебром на пропитание арестантов;

1829–1853 годы – на средства, собранные Гаазом, выкуплено 74 крепостных; в эти же годы Гааз 142 раза ходатайствует о помиловании осужденных, смягчении наказания и пересмотре дел.

Ну, а характер старого доктора? Когда на пути к доброму делу возникали препятствия, не было силы, которая помешала бы Гаазу вступить в бой…

Однажды на заседании Тюремного комитета он не побоялся резко возразить митрополиту Филарету, в ответ на его фразу «Если человек подвергнут каре, значит, есть за ним вина» воскликнув:

– Да вы о Христе забыли, владыко!

Присутствующие смутились и замерли в ожидании реакции митрополита. Еще никогда и никто не дерзал так говорить с ним, находившимся в исключительно влиятельном положении.

[3] Парадный костюм (*франц.*)..

Но глубина ума Филарета была равносильна сердечной глубине Гааза. Он поник головой и замолчал, а затем встал и, сказав: «Нет, Фёдор Петрович! Когда я произнес мои поспешные слова, не я Христа позабыл – Христос меня оставил!..» – благословил всех и вышел.

Какой уж тут юродивый или чудак? Тут протопоп Аввакум приходит в сравнение, тут непреклонность Лютера: «На том стою и не могу иначе!»

Что ж, Герцен ошибся? Да, ошибся – в деталях внешних, даже в характере. Но проницательность не изменила великому публицисту: он словно предугадал, как именно будет писаться жизнь Гааза его биографами – все они, начиная с самого замечательного, А.Ф. Кони, и заканчивая новейшими западногерманскими авторами, будут подчеркивать лишь его кротость, лучезарность, искажающие истинные масштабы личности Гааза.

Однако А.П. Чехов разглядел в сложном характере Гааза качества борца, бескомпромиссный протест против устоявшегося общественного правопорядка. В письме А.С. Суворину Антон Павлович, выстраивая ряд лучших людей, идущих впереди нации и поднимающих тревогу при виде несправедливости, ставит Золя, защитника невинно осужденного Дрейфуса, Короленко, спасшего от каторги мултанских крестьян, и доктора Гааза, чудесная жизнь которого «протекала и кончилась совершенно благополучно».

Чудесная, благополучная жизнь, по мнению Чехова, – это понятие особое, и он его разъясняет в том же письме: «… какой бы ни был приговор, Золя все-таки будет испытывать живую радость после суда, старость его будет хорошая старость, и умрет он с покойной или по крайней мере облегченной совестью».

Ф.П. Гааз должен быть счастлив, потому что первейшая основа счастья – единство поступков и совести.

Совершенно особо среди свидетельств русских писателей о Гаазе стоит мнение Л.Н. Толстого; оно выражено скупо и категорично: «Такие филантропы, как, например, доктор Гааз, о котором писал Кони, не принесли пользы человечеству». И еще: «Кони выдумал. Преувеличение, это был ограниченный человек».

Упрек в ограниченности если и применим к нашему герою, то лишь в той степени, в какой можно сказать, что Моцарт был ограничен музыкой, Рафаэль – живописью, Кант – философией.

Возможно, филантропы не принесли пользы человечеству в целом, но Гааз никогда и не ставил себе несбыточную задачу помогать всему человечеству. Мерой человечества для него всегда был живой реальный человек: Сидор Кузьмин, Лейба Кифтор, Бертоломей Гриневецкий и тысячи им подобных.

«Человек большого ума и образования, – писал о Гаазе Н.К. Михайловский, – он, однако, с течением времени пренебрег этою стороной жизни, постепенно превращаясь в одно ходячее сострадание, и лично для себя чрезвычайно просто разрешил трудную задачу филантропии: не мудрствуя лукаво, он помогал ближнему в буквальном смысле этого слова – тому, кто пространственнее ближе, тому, с кем столкнула судьба. Надо сказать, однако, что судьба столкнула его с людьми, нарочито несчастными и нуждавшимися в помощи, – с обитателями тюрем».

3

Именно на таких подвижниках добра и стоит земля, считал Ф.М. Достоевский. Личность Гааза не могла не заинтересовать Фёдора Михайловича. Единственный из великих русских писателей – каторжанин, кандальник, он не мог не задуматься о человеке, которого боготворила вся каторжная Россия. Из Мертвого дома он пишет брату Михаилу: «Брат, на земле очень много благородных людей!» И может, первым в числе их встал для Достоевского Фёдор Петрович Гааз.

Мнение Достоевского о тюремном докторе, по-видимому, сложилось не только на основании рассказов обитателей Мертвого дома. Хотя прямых доказательств их личных встреч у нас нет, но можно установить, что жизненные пути Гааза и Достоевского пересекались.

Прежде всего следует вспомнить, что отец писателя был врачом. Михаил Андреевич Достоевский всего на девять лет моложе Фёдора Петровича Гааза. Эта разница в летах вряд ли препятствовала возможному общению коллег, особенно в ту пору, когда Достоевский работал в Мариинской больнице: он определился в нее в 1821 году на вакансию ординатора уже в зрелом возрасте, имея за плечами службу в славном Бородинском полку и в Московском военном госпитале. В Мариинской больнице Михаил Андреевич проработал до 1837 года, то есть более полутора десятилетий самого активного периода жизни.

Больница на Божедомке (ныне улица Достоевского), получившая наименование Мариинской в связи с тем, что в ее учреждении принимала участие императрица Мария Фёдоровна, построена в 1806 году. Это была особая больница, и предназначалась она специально для лечения бедного люда. Среди консультантов, приглашаемых, согласно уставу, «из посторонних для больницы знаменитейших специалистов», весьма вероятно, был и Гааз – лучший в то время московский офтальмолог.

В небольшой казенной квартире при Мариинской больнице родился в 1821 году будущий писатель. Здесь прожил первые тринадцать лет.

Федя Достоевский, игравший с братьями в больничном саду, неоднократно мог наблюдать, как отворялись чугунные ворота и мимо белокаменных стерегущих львов проезжала карета, запряженная четверкой белых лошадей цугом. Карета останавливалась у широкой лестницы, вбегающей невысокими ступенями к восьми массивным колоннам портика, и из нее выходил солидный господин с густыми волосами, собранными сзади в косу с черным шелковым бантом, в черных же чулках, панталонах до колен и камзоле с кружевным жабо. Встречные низко кланялись господину доктору, привратник, отставной инвалид, распахивал перед ним тяжелую парадную дверь.

На памяти Достоевского-подростка должна была произойти замена богатого выезда на пролетку с колесами, кованными шипным железом, с верхом, обтянутым потертой кожей, запряженную парой кляч, понукаемых кучером Егором. Доктор в то время уже не заплетал косу, а прикрывал поредевшие волосы рыжим париком. Фрак и панталоны изрядно обносились, и только пышное жабо, как всегда, было безукоризненной свежести.

Наблюдательный и любознательный молодой Достоевский должен был обратить внимание на Ф.П. Гааза. Безусловно, он слышал от отца и его приятелей А.Е. Эвениуса и А.А. Альфонского о «святом докторе». Другим источником информации о Гаазе мог быть дядя Достоевского – первостатейный купец Александр Алексеевич Куманин, который вместе с Гаазом в тридцатые годы принимал участие в восстановлении сгоревшей во время наполеоновского нашествия глазной больницы.

Достоевский не мог не знать о докторе Гаазе.

Он думал о нем пристально, и лучшее доказательство тому – роман «Идиот». Роман этот был напечатан в журнале «Русский вестник» за 1868 год. В № 11 журнала имена Достоевского и Гааза стоят буквально рядом: на странице 289-й заканчивается четвертая часть романа, а на следующей странице начинается большой очерк П. Лебедева «Фёдор Петрович Гааз».

Откроем шестую главу третьей части романа «Идиот»:

«В Москве жил один старик, один “генерал”, то есть действительный статский советник, с немецким именем, он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам; каждая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что на Воробьёвых горах ее посетит «старенький генерал». Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно; он являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружали его, останавливался перед каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставлений не читал почти никогда никому, звал их всех “голубчиками”. Он давал

деньги, присылал необходимые вещи – портянки, подвертки, холста, приносил иногда душеспасительные книжки и оделял ими каждого грамотного, с полным убеждением, что они будут их дорогой читать и что грамотный прочтет неграмотному. Про преступление он редко расспрашивал, разве выслушивал, если преступник сам начинал говорить. Все преступники у него были на равной ноге, различия не было. Он говорил с ними как с братьями, но они сами стали считать его под конец за отца. Когда замечал какую-нибудь ссыльную женщину с ребенком на руках, он подходил, ласкал ребенка, пощелкивая ему пальцами, чтобы тот засмеялся. Так поступал он множество лет, до самой смерти; дошло до того, что его знали по всей России и по всей Сибири, то есть все преступники. Мне рассказывал один бывший в Сибири, что он сам был свидетелем, как самые закоренелые преступники вспоминали про генерала, а между тем, посещая партии, генерал редко мог раздать более двадцати копеек на брата. Правда, вспоминали его не то что горячо или как-нибудь там очень серьезно. Какой-нибудь из “несчастных”, убивший каких-нибудь двенадцать душ, заколовший шесть штук детей, единственно для своего удовольствия (такие, говорят, бывали), вдруг ни с того ни с сего, и всего-то, может быть, один раз во все двадцать лет, вдруг вздохнет и скажет: “А что-то теперь старичок генерал, жив ли еще?” При этом, может быть, даже и усмехнется, – и вот и только всего-то».

Только всего-то… Тобольский губернатор Виктор Антонович Арцимович однажды, проезжая губернию, встретился со стариком ссыльнопоселенцем. Когда губернатор садился в экипаж, старик вдруг упал на колени. Арцимович спросил, в чем его просьба. «Никакой у меня просьбы, ваше превосходительство, нет, и я всем доволен, – не поднимаясь, ответил старик, – а только… он заплакал от волнения, – только скажите мне хоть вы, – ни от кого я толком узнать не могу, – скажите: жив ли ещё в Москве Фёдор Петрович?!»

В «старичке генерале» читатель, видимо, уже и сам узнал Фёдора Петровича Гааза. А «один бывший в Сибири», я убежден, есть не кто иной, как сам Достоевский. И конечно, он не был бы Достоевским, если бы не закончил рассказ вопросом: «А почем вы знаете, какое семя заброшено в его душу навеки этим “старичком генералом”, которого он не забыл в двадцать лет?»

Вопрос, как почти всегда у Достоевского, капитальный, требующий от читателя настойчивого думанья; вопрос, уходящий вглубь, переплетающийся с другими капитальными вопросами, которые все вместе и создают корневую систему творчества гениального писателя.

Основную же мысль искусства XIX века, а значит, и своего творчества тоже, Достоевский выразил так: «Это мысль христианская и высоконравственная, формула ее – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества».

Здесь сформулировано то, что Гааз *доказал* всей своей жизнью. «Любовь и сострадание живут в сердце каждого! – писал он. – Зло есть результат лишь ослепления. Я не хочу, я не могу поверить, чтобы можно сознательно и хладнокровно причинять людям терзания, заставляющие иногда пережить тысячу смертей до наступления настоящей».

Его не смущало, сколь велико число страждущих и сколь малы силы одного человека. Да разве они действительно малы, если вспомнить добрые дела доктора Гааза?! Но ему все казалось мало, он торопился. Он и нам завещал: «Спешите делать добро!» «Добро» здесь означает лишь одно – любовь к людям, и прежде всего к несчастным. Как созвучна заповедь Фёдора Петровича *капитальной* мысли князя Мышкина: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества».

Узнав о смерти Фёдора Петровича, каторжные Нерчинского острога на свои горькие копейки в складчину приобрели икону святого великомученика Фёдора Тирона – на закопченной доске изображение молодого воина с темно-русой бородкой в застегнутом на правом плече

синем плаще. Легенда гласит, что он погиб на костре, казненный за проповедь христианства среди товарищей по оружию.

Лик святого Фёдора Тирона, смотревшего с такой же черной доски, был памятен Достоевскому с детских лет – икона и сейчас выставлена в одной из комнат музея писателя. Это, конечно, случайное совпадение. Но не случайно все годы после каторги Достоевский обнаруживает упорный интерес к личности «святого доктора». В черновых набросках к «Преступлению и наказанию» имя Гааза встречается не раз, одна запись заставляет задуматься особенно: «Неужели ж я не могу быть как Гас».

Что же это значит – быть как Гааз, стать Гаазом? А то и значит: считать людей не за «вошь», «процент» или «матерьял», а за ближних своих, братьев. Кажется, мысль проще некуда, но вспомните, через что проламывается к ней Родион Романович Раскольников?!

Задумавшись над переплетением жизни Гааза и творчества (то есть тоже жизни) Достоевского, можно сделать вывод: быть Гаазом для Фёдора Михайловича значило неизмеримо больше, чем быть порядочным, честным человеком. Идеал *человечности* – вот что значил для писателя Достоевского доктор Гааз.

Тринадцатая страсть
Памяти доктора Бориса Моисеевича Шубина

Не все сущее делится на разум без остатка.
Гёте

1

– Что есть добро? Что есть добрый человек? Что есть добрые дела?

– Ты меня спрашиваешь?

От удивления Иуда выпустил веревку, она змейкой скользнула через сук засохшей смоковницы, свернулась кольцом у подола синей хламиды. «И глаза у него синие», подумал Пустошин.

– Да, вас. Вы ведь страдаете, у вас кровь из губы.

Иуда слизнул кровь.

– Жара, а я два дня не пил. Помоги.

Он бросил Пустошину веревку, а сам, скребя заросший подбородок, щурясь от солнца, смотрел на сук, что-то прикидывая в уме. Руки Арсения Ильича дрожали, пальцы не слушались, будто окоченели, веревка падала.

– Вяжи крепче, вяжи, потом самому пригодится. Ты ведь такой же…

– Вы что, я никого не предавал! Я ведь еще мальчик, – зачем-то соврал Арсений Ильич, – кадет Первого кадетского корпуса.

– А, значит, ты предал злоумышленников Глинку, Рылеева, Краснокутского, Тизенгаузена, Аврамова?

– Я никого из них не знал, клянусь вам, они выпусками старше.

Иуда потрепал его по щеке, отчего несчастный Арсений Ильич зябко передернулся.

– Ничего, предашь, когда подрастешь. Все предают, запомни, потому что человек – самая подлая тварь.

– Но вы же Господа предали…

– А Пётр не предал Его? А Фома? Теперь шипят, что я продался за тридцать сребреников. Да за такие гроши веревку крепкую не купишь! Ты не знаешь… Я один любил Его, а они Ему не верили, они смеялись над Ним, а я плакал. Запомни: предают тех, кого любят.

Иуда кричал, задыхаясь, словно за ним гнались, а крепкие крестьянские пальцы умело вязали удавку; он рванул ее, пробуя крепость петли, шея нажилилась, словно под кожей продернули веревки.

– Смотри, брат, тебе пригодится. О господи, хоть бы глоток воды! Жара! Лучше бы ночи подождать, прохладно станет, но тогда сук не видно, разве только ты факелом посветишь. Посветишь, брат?

Пустошин переступал босыми ногами по корням, не зная, что ответить, и уйти не мог, – что-то удерживало его возле корявой смоковницы, скупой на тень; он украдкой взглядывал на потное тяжелолобое лицо Иуды, бугры надбровий, запекшиеся губы.

Раздвинув петлю, Иуда сунул голову, повертел в петле, вытащил, задев оттопыренные уши. Тоскливо огляделся, но вокруг была только рыжая горячая земля – ни бугорка, ни кустика. Он нехотя закинул веревку на сук, подтянул петлю выше, свободный конец обвязал вокруг ствола.

– Нагнись, добрый человек.

Пустошин послушно нагнулся, упершись руками в дерево, охнул – Иуда больно вдавил коленом поясницу, навалился на спину, топтался; вдруг в бок толкнуло с такой силой, что Арсений Ильич упал и увидел над собой бьющуюся синюю хламиду, а высоко-высоко – страшное лицо с синими камнями глаз.

Пустошин заплакал.

– Господи, прости меня.

Он беспокойно заворочался под одеялом, едва не проснувшись, потерся мокрой от слез щекой о бледно-желтую наволочку, жалобно, по-детски всхлипнул и задышал ровнее. Наверное, только ребенком он спал так крепко, как в эту душную августовскую ночь 1853 года. И позднее, в одиннадцатом часу, пробуждение его было таким радостным, что, не зовя камердинера Онисима, Арсений Ильич встал, набросил вишневый бархатный халат, подбитый лиловым атласом, с лиловыми же, но стегаными отворотами, и долго стоял перед зеркалом, озирая себя, будто из палисандровой рамы с резными амурами по углам смотрел не он сам, а его портрет: лицо тронуто желтизной от болезни, но еще довольно свежее для мужчины сорока двух лет, густые темно-русые бакенбарды, голубые глаза под щеточками бровей. Наморщив лоб, увеличенный залысинами, отчего лицо приняло выражение озабоченное, Арсений Ильич старался вспомнить, что же такое ему только что снилось, но помнилось лишь ослепительно-синее, горячее, какой-то лепет, даже молитва. Он снисходительно улыбнулся сам себе: да что с тобой, Пустошин, что стряслось, в какую сторону сдвинулась душа, если ты, всю жизнь поминавший имя Господа лишь всуе, вдруг с таким смирением призвал Его и вверил Ему жизнь свою? Арсений Пустошин записался в богомольцы? Отменно глупо, дружок, и ты же первый выкажешь сомнение сему.

Я и сам довольно понимал, что сие глупо, а потому велел Онисиму откупорить шампанское, и не сквозь салфетку, а пробку вон, ключом громокипящим, – и осушил бокал. Ах, до чего же славно жить на свете!

Вино уравновесило меня, воздвигло на место колесико, соскочившее с оси, и далее августовский день покатил своим чередом: утренний развод у генерал-губернатора графа Арсения Андреевича Закревского, обед у князя Белосельского, благотворительная лотерея, а вечером – в кофейный кабинет Английского клуба. Причем мной овладело состояние столь энергическое, что прямо с Тверской, от графа, полетел к Мякишеву срочно переменить свой экипаж отличной лондонской работы на новый – непременно захотелось мякишевский экипаж с дверцами в обе стороны, бронзовыми фонарями, с обивкою пунцовым бархатом. Да так проворно сладил дело с жуликом каретником, что не прошло и часу, а мой кучер перепряг Султана и Мурзу, обругал рессоры, а я хохотал, откинувшись на подушки.

– Гони к обер-полицмейстеру, шельма! Да смотри, не уступай никому.

Я ехал ко Льву Михайловичу просить быть завтра на холостяцкой пирушке, хотя, впрочем, мог сделать приглашение и в театре – наши кресла в первом ряду, но Цынский взял себе за правило, чтоб места справа и слева пустовали, подчеркивая значительность его персоны.

Прежнего обер-полицмейстера Муханова я чтил душой и до сих пор с ним дружен. Да не сам ли он рассказывал мне, как сдавал должность Цынскому, тогда на восемьдесят тысяч с лишком недосчитались пожарных инструментов, бочек, лошадей, что принудило его обратиться к дяде-сенатору. Тот деньги дал, но выговорил племяннику: «Не подобает князьям Мухановым идти в будочники, мы не какие-то там Свинские». Да хорошо еще каланчи оказались на месте – у нас ведь станется, что каланчу сопрут с Сущевской части, пропьют, а скажут – так и было.

А Цынского с тех пор за глаза все стали звать не иначе, как Свинским. Да и физиономия у него вроде того: изношенная, бледная, усы крашеные, парик черный. К тому же груб по-свин-

ски и честности сомнительной. Когда к нему первый раз пришли откупщики, Лев Михайлович, приняв поднесенные тридцать тысяч, спросил, какую сумму жертвуют господа откупщики на остальных полицейских чинов. Оказалось, столько же. «И преотлично, голуби, доставьте эту сумму мне, а я уж разделю сам».

И возразить нечего. С тех пор Лев Михайлович получает каждый год по шестьдесят тысяч. И правильно делает. «Поверишь ли, Арсений Ильич, трудолюбиво собираю по пылинке, как пчела, а взяток весь берут танцорки».

И что ему театр, что он театру? Я б на его месте театры за три версты объезжал, ведь и без того вся Москва знает, что он сын актрисы Ветрацынской, а уж чей еще – о том молва противуречит. Мы и познакомились-то на театре, еще когда он был подполковником, а я подпоручиком.

Не помню, по какой надобности он прибыл в Петербург… На широкой масленой, в утреннем спектакле в Александринке давали «Горе от ума». В креслах только Николай Львович Невахович, я и Цынский. После первого акта мы с Неваховичем пошли в буфет, туда же пришли некоторые актеры, в том числе Максимов, игравший Чацкого, – мы их пригласили к завтраку, спросили блинов, вина и начали беседовать; завтрак наш продолжался так долго, что режиссер Куликов пришел в буфет и попросил господ актеров выйти на сцену, говоря, что публика дожидается. Невахович резонно заметил, что вся публика в буфете, ложи пустые, а на раек не следует обращать внимания. Я велел подать еще вина, усадил режиссера, и уж когда все вдоволь насытились, мы отправились в кресла.

В конце 1835 года мне было двадцать пять лет. Живя по службе в Петербурге, я предавался удовольствиям, но они начинали мне надоедать, я искал развлечения, соединенного с изящным, и наконец ударился в театр. Посещая его каждый день, свел знакомство с такими же театралами, и вскоре узнал, что существует некое приятное, а вместе с тем тайное Общество из весьма ограниченного персонала – председателя и двенадцати членов. Меня ввел туда гостем юнкер Школы гвардейских подпрапорщиков Константин Александрович Булгаков, сын московского почтового директора.

Общество мне чрезвычайно нравилось, и вскоре, в начале 36-го года, я был принят на открывшуюся вакансию в Общество Танцоров Поневоле; название сие связано с непременным правилом: как только члены Общества услышат мотив из балета «Волшебная флейта» (под который в балете все невольно начинают танцевать), они обязательно должны плясать, а если нельзя того сделать, то шевелить в такт руками или ногами, хотя бы одним пальцем. Оно смешно, но до сих пор у всех нас осталось это обыкновение.

Цель Общества состояла в приятном времяпрепровождении, дружестве, полной между собой свободе и непременном волокитстве за жрицами Мельпомены, – кто не ухаживал за танцовщицею, актрисою или хористкою, подлежал позорному изгнанию, и потому я начал волочиться за хорошенькой воспитанницей Театрального училища, бывшей на близком выпуске, и она мне отвечала пантомимами во время спектакля или записочками.

При вступлении моем председателем Общества (он назывался у нас Архимандритом) был Павел Степанович Фёдоров, автор многих пьес, впоследствии начальник Театрального училища и репертуарной части; Александр Петрович Мундт носил звание Протодиакона, ибо имел сильный бас и провозглашал на наших ассамблеях многолетия; Циргольд исполнял обязанности секретаря и хранителя архива, остальные состояли действительными членами. Я поступил на место офицера Преображенского полка Васильева, сосланного на Кавказ за историю с похищением воспитанницы Театрального училища Оленьки Кох. Ах, театр! Вся молодость моя прошла в креслах Александринки.

Там, там, под сению кулис,
Златые дни мои неслись.

2

Цынского я застал при полном параде, грешным делом подумав, не собрался ли доблестный наш Лев Михайлович воевать турок, – больно он грозен был, оглядывая полуэскадрон казаков с пиками.

Сойдя с экипажа, я изобразил немую сцену.

– Ваше превосходительство, возьмите в дело отставного поручика.

– До шуток ли, Арсений Ильич?

– Да разве дело так серьезно?

– Да-с, именно так.

– Неужто вновь холера или поджоги?

– Умер доктор Гааз. Граф Закревский повелел, дабы избежать беспорядков, непременно мне быть на всем пути до Введенских гор.

В голове у меня разом все смешалось. Я смотрел на генерала, крепко взявшего повод; встав на стременах, он подал команду, отчего изношенное лицо его как-то враз сморщилось, крашеные усы подпрыгнули, но мне словно уши заложило – видел разверстый рот, а ничего не слышал. Да не ослышался ли я? Верно, я последние дни был нездоров животом и никого не принимал, но почему же утром-то мне не сказали?

– Гони в Казенный переулок, в Газовку! – велел я кучеру.

Каменные львы на воротах словно задремали от жары, железные ворота настежь, ни инвалида, ни швейцара, никого, только в палате на втором этаже кричали умалишенные, а сиделка Татьяна обносила их микстурой. Я знал ее, когда она служила в известном заведении сугубо для мужчин, – премиленькая резвушка, потом заболела и попала в сию лечебницу, да и осталась здесь сиделкой.

– Татьяна, а где ж все?

– Ушли с Фёдором Петровичем.

– А ты что ж?

– Так надо быть с несчастными, – ответила она, не поднимая глаз.

Опять несчастные. Злодей, зарезавший всю семью с малыми младенцами, больной без человеческого облика, нищая старуха, пропойца, холоп – все несчастные. Да кто ж в России счастлив, дура? Я – с четырьмя душами и жалованьем в две тысячи? Или поврежденный доктор Фёдор Петрович, которого несут сейчас к могиле?

Шествие я нагнал уже в Лефортове. Нагнал… Все одно, что сказать – достиг острова, когда стоишь на берегу, отдаленном от острова разлившейся рекой. Несметные тысячи народа захлестнули окрестные улочки и переулки. Велев кучеру дожидаться у дворца Лефорта, я сошел на булыжную мостовую. Заметив рядом бабу с букетом огромных огненных георгинов, спросил, за дорого ли продает? Она посмотрела на меня и бочком-бочком, словно я убить ее пришел.

– Да постой, дурища! На тебе рубль.

Ах, будь у меня кнут, вытянул бы глупую бабу! Но тут так сдавили со всех сторон, что и рук не поднять. Пришлось пробиваться сквозь толпу локтями, вскоре я весь взмок, и локти от толкотни заныли. Уж не помню, в каком месте, кто-то крепко взял меня за руку:

– Сударь, извольте соблюдать приличия.

Я в бешенстве обернулся – позади стоял господин Киреевский.

– Прошу извинить, Иван Васильевич, если я вас неумышленно задел.

Киреевский кивнул и отвернул лицо к спутникам; одного из них я сразу признал – Юрий Фёдорович Самарин, второй, кажется, университетский профессор Грановский. Я все-таки опередил их, но еще слышал задыхающийся голос Киреевского:

– Мы были у Гааза тринадцатого… да, всего за два дня… Ни жалобы, ни вздоха, ни даже движения малейшего…

Удивительно много было в Фёдоре Петровиче прекрасного, даже великого в этом безоглядном человеколюбии…

О безоглядном человеколюбии Иван Васильевич выразился точно, довольно я был тому свидетелем, и мне не надо было взирать на умирающего Гааза, чтобы сделать такой вывод, – годы целые я наблюдал его, не умея занести в какой-то вид человеческих особей – и когда боготворил его, и когда ненавидел.

Колоссальная толпа, края которой я не видел, даже поднявшись на лестницу, забытую фонарщиком, сплотилась намертво, такого шествия не было даже на похоронах Гоголя. «Больше, кажется, хоронить некого», – сказал тогда Грановский, а вот же нашлось кого! Тут была вся Москва: князь Голицын шел рядом с нищенкой, сенатор Булатов об локоть с отставным инвалидом, мелькнул марсианский череп Чаадаева и львиная шевелюра Кетчера, за бабой с георгинами шел, сняв фуражку, обер-полицмейстер Цынский, прикладывая платок к глазам, – вот уж поистине осьмое чудо света! Кто ж на Москве не знал, что Лев Михайлович собственноручно порет арестантов, что во время страшных пожаров он науськал толпу против несчастного полковника Сомова, имевшего в кармане огниво и трут. Я доподлинно знаю со слов смотрителя тюремного замка о конфузе, когда Цынский площадными словами обругал находившегося под судом кавалерийского офицера. Тот осмелился противуречить, обер-полицмейстер замахнулся, но офицер успел дать ему две жестокие пощечины и, сорвав генеральский эполет, вскричал на всю Бутырку: «Ах ты, ракалия! Я, пока еще не разжалован, такой же дворянин и офицер, как и ты, мерзавец!»

Я совершенно выбился из сил, ноги дрожали, дышать было трудно. Кругом плакали, и я не сразу услышал слова губернатора Ивана Васильевича Капниста. Видно, уже отслужили панихиду, потому что могучий бас протодиакона возгласил за упокой души почившего, а потом, после довольно долгой тишины, я услышал губернатора.

– Смерть похитила из среды нас одного из достойнейших членов наших – Фёдора Петровича Гааза!.. В продолжение почти полувекового пребывания своего в Москве он большую часть этого периода своей жизни посвятил исключительно облегчению участи заключенных. Кто из нас, милостивые государи, не был свидетелем того самоотвержения, того истинно христианского стремления, с которым он поспешал на помощь страждущим. Верный своей цели и своему назначению, он неуклонно следовал в пути, указанном ему благотворными ощущениями его сердца! Никогда и никакие препятствия не могли охладить его деятельность, напротив, они как будто сообщали ему новые силы. Убеждения и усилия его доходили часто до фанатизма, но это был фанатизм добра, фанатизм сострадания к страждущим…

Что было со мной далее, не помню. В глазах померкло, тело сделалось ватным. Кажется, я упал.

3

С лишком две недели провел я в жестокой лихорадке, и каждый день, как избавления от мук, ждал минуты перед сном, дабы обратить к Господу слова бесхитростной молитвы: «Господи, прости мне мои прегрешения. Дай мне увидеть завтрашний день и пережить его». Иногда, после успокоительного декохта, меня охватывала неодолимая сонливость, но еще больше страх, что усну, не успев возблагодарить всеблагого и милосердного. Я боялся не наказания за свою забывчивость, но целый день жил ожиданием этой минуты, она стала смыслом всего

моего существования. И то, что каждый раз утром я пробуждался к жизни, уверяло меня, что моя молитва услышана, что она угодна Господу.

Возможно, мое пробуждение стало последним добрым делом Фёдора Петровича Гааза, вспоминавшего в муках ничтожного Арсения Пустошина, и святость его помысла отверзла ржавые врата моей души. Гааз страдал очень тяжко. У него сделался громадный карбункул, оказавшийся смертельным. Последние три недели он вовсе не спал. Сидел в своей комнате за ширмами, в излюбленном кресле, на нем был халат, и его прекрасную голову не покрывал уже исторический парик. Его лицо, как всегда, излучало спокойствие и доброту, – рассказывал мне капитан генерального штаба Дешарвер; он даже хотел поцеловать руку доктора, но удержался, боясь его расстроить. А ведь Гааз, когда-то приглашенный на консилиум к его отцу, прямо объявил, что больной умрет, но слова эти сказаны были с таким участием, что Дешарвер с детства проникся глубокой признательностью к доктору.

Фёдор Петрович не только не жаловался на страдания, но вообще ни слова не говорил о болезни, а беспрестанно занимался своими бедными, больными, арестантами, делая распоряжения, как человек, приготовившийся в дальний путь, чтобы остающимся после него было как можно лучше. Он знал, что скоро умрет, и был спокоен; ни жалобы, ни стона не вырвалось из его груди, только раз он сказал своему душеприказчику доктору Полю; «Я не думал, чтобы человек мог вынести столько страдания».

Когда он почувствовал приближение смерти, он велел перенести себя из спальни в кабинет, открыть входные двери и допускать всех, знакомых и незнакомых. Мог и я быть среди них…

Лекари Владимиров и Собакинский просили тогда священника Орлова отслужить обедню о выздоровлении больного, но поскольку Гааз не был православным, отец Орлов заявил о своем затруднении митрополиту Филарету. Владыка долго молчал, потом поднял руку; «Бог благословил молиться о всех живых – и я тебя благословляю! Когда надеешься быть у Фёдора Петровича с просфорой? – и, получив ответ, что в два часа, прибавил: – Отправляйся с Богом, увидимся у Фёдора Петровича».

Это было 15 августа, а назавтра Фёдора Петровича не стало. Уж я-то знал, как сложны были отношения доктора с владыкой, сам лицезрел их небывалый спор, а вот же сам первосвятитель московский примирился с давним противником, я же взлелеял о нем злобу. Но разве одна только злоба тогда двигала мною?

Как сейчас вижу Фёдора Петровича в длинном коридоре Екатерининской больницы. Каменные белые плиты тесаны так ровно, что швов не видно, шаги не слышны; масляные светильники высвечивают кирпичный полукруглый свод. В тот день я был взбешен, мы поссорились еще на Воробьёвых горах, при отправке партии каторжных, когда Гааз, найдя у Савелия Гущина, зарезавшего восемь душ, какую-то пустячную болезнь, отставил злодея от этапа.

– Как вы могли?! Он же детей зарезал на глазах у матери, а вы ему – книжечку, апельсин! Он же издевался над вами, слепой вы человек, он у вас платок вытащил, когда вы его обнимали. Потому и целовались с ним, что он назвал вас генералом, а этого душегуба живьём закопать мало, на куски разрезать!

Гааз качнулся, словно я выстрелил в него, схватился рукой за грудь, где всегда носил Владимирский крест.

– Арсений Ильич, простите, если виновен перед вами, но не губите душу ужасными словами.

– А, не нравится правда! Вы жалеете их, а меня кто-нибудь жалел?..

Я кричал на него, топал ногами, а Фёдор Петрович обнял меня:

– Голубчик, простите, ради Христа…

Но я вырвался, побежал по коридору.

А к вечеру того же дня государь Николай Павлович посетил Московский тюремный замок в Бутырках. Его величество сопровождали светлейший князь Дмитрий Владимирович Голицын, московский комендант граф Пётр Александрович Толстой и начальник корпуса внутренней стражи генерал Пётр Михайлович Капцевич – старый сослуживец Аракчеева по Гатчине. Будучи генерал-губернатором Западной Сибири, Капцевич заботился о ссыльных, но, сделавшись командиром корпуса внутренней стражи, перешел на сторону инвалидов, обязанных караулить арестантов, и делал все возможное для предупреждения побегов. Более всего Пётр Михайлович серчал, когда в его монастырь ходили с чужим уставом, поэтому недолюбливал Гааза, а с тех пор, когда Фёдор Петрович стал требовать отмены «прута», генерал зачислил его своим врагом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.